

ПУШКИН ИЛИ РЫЛЕЕВ? *)

В августе 1924 г., общество литераторов, собравшееся в Коктебеле у М. А. Волошина, заслушало статью М. Л. Гофмана «Пушкин и Рылеев». Предлагаемый в ней отвод знаменитого послания «К Чаадаеву» от Пушкина и приурочение его к Рылееву вызвали заметный интерес собрания. Присутствовавший на нем покойный В. Я. Брюсов безоговорочно согласился с автором статьи и признал вопрос решенным: авторство Рылеева, по его мнению, было доказано, и стихотворение «Люби, надежды, тихой славы» отныне теряло право на включение его в собрания пушкинских текстов.

Во время прений по этому вопросу пишущий эти строки, несмотря на авторитет обоих пушкинистов, пришедших к одинаковому выводу, позволил себе высказать сомнение в окончательности их согласного решения. Не оспаривая права исследователей ставить здесь вопрос о подлинном авторстве Пушкина в виду отсутствия автографа или именной публикации, я усомнился в правильности отнесения спорного текста к Рылееву и высказал ряд соображений о серьезных шансах «пушкинской традиции» остаться в силе и после возникшего на эту тему диспута.

По предложению редакции «Недр», излагаю свои соображения по этому спорному вопросу, подводя под прежние возражения новые документальные обоснования.

I

История опубликования спорного стихотворения изложена М. Л. Гофманом не полностью. Публикация «Северной Звезды» 1829 г. не есть собственно начало текстовой биографии этого послания.

*) Сборник, со статей М. Гофмана, к сожалению, был уже отпечатан, когда редакции стало известно, что статьи, подписанные М. Гофманом, тоже о Пушкине, появились в белогвардейских изданиях. Факт сотрудничества в эмигрантской прессе, хотя бы даже и по академическим вопросам, закрывает отныне Гофману доступ на страницы советской печати.

Редакция.

Его печатная история имеет свою праисторию, весьма существенную и важную для нас. Отрывок из интересующего нас послания появился впервые за два года до напечатания его в «Северной Звезде» *), а именно в «Сириусе» 1827 г., изданном тем же М. А. Бестужевым - Рюминым, который редактировал альманах 1829 г. («Северную Звезду»). В эпистолярном отрывке «Следствия комедии Горе от ума» (переписка между главными лицами комедии и их знакомыми) в письме Чацкого к Лестову мы и находим выдержку из послания к Чаадаеву. Чацкий между прочим пишет:

«Утомленный печалью, исполненный какого-то особенного предчувствия, с каким-то особенным нетерпением я жду чего-то лучшего.

Нетерпеливою душой
Я жду с томленьем упованья,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Не думай, чтоб я сделался и стихотворцем, если в сих прекрасных стихах П. заменен мною роковой заветный стих собственным, незначащим. Это только для рифмы».

Академическое издание отмечает: здесь вовсе нет лишнего стиха, вставленного Чацким будто бы для рифмы, а имеется только пропуск—«конечно по цензурным соображениям»—двух стихов: «Отчизны внемлем призыванья» и «Минуты вольности святой».

Во всяком случае запомним следующий факт: отрывок из стихотворения «Любви, надежды, тихой славы» впервые появился в печати с прозрачным указанием, что это—«прекрасные стихи П.». В 1826 г., в момент зенита пушкинской славы, эта формула была совершенно равносильна полному наименованию имени Пушкина (заметим, что другого мало-мальски популярного поэта с инициалом П. тогда и не было в русской поэзии **). Читатель с совершенной несомненностью воспринимал приведенную оценку, как прямое указание на Пушкина.

*) И даже ранее: альманах «Сириус» вышел в последних числах декабря (цензурное разрешение: 7 июля 1826 г.), «Северная Звезда» вышла в июле 1829 г. См. Синявский и Цявловский, «Пушкин в печати»—38, 76.

**) Конечно, ни Полежаев, который в то время был студентом и едва достиг 21 года, ни Подолинский, которому было всего 20 лет, не были в 1826 г. известны, как поэты.

Это впечатление усугублялось явственными намеками на политическую цензурность стихов (чем, как известно, в то время славился именно Пушкин): «в сих прекрасных стихах П заменен мною роковой заветный стих собственным незначущим». Издатель усугублял впечатление многозначительной сноской: «А нам кажется (стих) пропущен» и проч. Это опубликование прошло без всяких возражений с чьей бы то ни было стороны. Молчал и Пушкин.

Через два года тот же Бестужев-Рюмин, публикуя в 1829 г. почти полностью (за исключением последней строфы) послание «К N. N.» т. е. «Люби, надежды, тихой славы» за подписью Ап., отмечает в предисловии: «Издатель, благодаря г. Ап., доставившего к нему тринадцать пьес (из коих несколько помещено в сей книжке) должным находит просить гг. Неизвестных об об'явлении впредь имен своих издателю».

«Таким образом—замечает Академическое издание—в 1827 г. Бестужев-Рюмин говорил о послании к Чаадаеву, как об известном произведении, обозначая имя автора—П., а в 1829 г. напечатал послание, приписав его неизвестному, скрывшему свое имя под буквами Ап.».

По мнению М. А. Цявловского, эта последняя подпись снова придумана Бестужевым-Рюминым для сигнализации читателю; в случае возможного укора, латинские буквы можно было толковать как начало слова «Апопуге», фактически же в читателе вызывалась неизбежная ассоциация с пушкинскими инициалами (А. П.). Отметим, что некоторые стихотворения Пушкина появились в печати за этой именно подписью*). Первый намек 1827 г., хотя и ослабленный, оставался все же в силе.

Пушкин, как известно, заявил в своих критических заметках 1830 г. свой протест против всей этой уклончивой и в то же время явной игры с его именем. К этому заявлению мы еще вернемся.

*) В 20-ые гг. за подписью А. П. были напечатаны следующие стихотворения Пушкина: «К прелестнице», «Журнальным приятелям», «Дориде», «Прозаик и поэт», «К Чаадаеву» («К чему холодные сомненья?»), «В чужбине свято наблюдаю», «Ех ungue leopard», «Не пой красавица», «То Дау, Esqг.», «Я не люблю альбомов модных» и друг. Стихотворение «Уединение» («Приветствую тебя, пустынный уголок»), появившееся в 1825 г. в издании того же Бестужева-Рюмина, было подписано одной буквой: П. Стихотворение «На лире скромной, благородной» было подписано: А. П—н, и эпиграмма «Лук звенит, стрела трепещет» Ал. П.

Пока же заметим, что у печатных первоисточков вопроса мы встречаемся с целым рядом явных указаний на авторство Пушкина и не имеем ни одного, хотя бы отдаленного и косвенного намека на Рылеева. Первый отрывок из послания характеризуется издателем, как «прекрасные стихи П.», первая подробная редакция помещена в одной партии с 5-ю несомненными пушкинскими стихотворениями (при одном непушкинском, включенном, очевидно, по ошибке), но во всяком случае не в соседстве с какими-либо Рылеевскими стихами. Все это помещено за суггестивной подписью Ап., вызывающей невольное сближение с пушкинскими инициалами и не имеющей ничего общего с вензелем К. Р. (Кондр. Рылеев). Эта последняя публикация встретила отзвук со стороны Пушкина, который во всяком случае сам нисколько не отвергал своего авторства по отношению к стихотворению «Люби, надежды, тихой славы».

II

Этого мало. Пушкин не только не отвергал своего авторства, но в другом своем послании к Чаадаеву весьма отчетливо признал его. В стихотворении «К чему холодные сомненья?» 1820 г., бесспорно пушкинском и несомненно посвященном Чаадаеву, поэт совершенно недвусмысленно упоминает свое первое обращение к тому же лицу. Оба стихотворения с давних пор сопоставляются исследователями, как несомненно внутренне согласованные. Возражение М. Л. Гофмана, считающего вопреки традиции, что за исключением одного образа (да и то трактованного по иному) «нет решительно никакой внутренней связи между обоими посланиями», ни в коем случае не может быть принято.

Полагаем, что связь эта очевидна. В момент второго послания Пушкин уже отошел от безудержной революционной восторженности своего недавнего прошлого—он во многом стал спокойнее и скептичнее. Это новое настроение и выражается во 2-м послании. Все оно построено на противопоставлении возникшей сердечной лени и тишины прежнему «восторгу молодому» и мятежной отваге. Из этого противопоставления двух крайних настроений явственно выступает первое обращение к Чаадаеву (т.-е. наше спорное послание).

Вспомним окончание послания к Чаадаеву 1820 г. (бесспорного):

Чаадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Вопрос, поставленный в начале этого заключения («давно ль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным?»), явно указывает на первое послание. Здесь, как и во всем стихотворении,—противопоставление первому посланию. Теперь перед поэтом развалины храма Дианы, где происходили трогательные эпизоды классической дружбы Ореста и Пилада:

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество...

В первом же случае говорилось об «обломках самовластья», т.-е. отнюдь не идиллических руинах. Это и подчеркивается во 2-ом послании в стихах о предании «рокового имени» (конечно, носителя самовластья) «развалинам иным» (обломкам трона).

Параллелизм антитезы углубляется и далее: в 1818 г. Пушкин мечтал видеть «наши имена» (т.-е. свое и Чаадаева) написанными воспрянувшей от спячки революционной Россией «на обломках самовластья»—теперь же с ленью и тишиной в сердце, даже с чувством умиления—

На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

В первом случае—обломки, обвеянные вихрем борьбы, во втором — камень, дружбой освященный. В 1818 году — бурная устремленность в будущее, в 1820 — уход в легендарное прошлое: политическим перспективам грядущего противопоставлено идиллическое видение античности. Сложная и точная система противопоставлений обнаруживает теснейшую связь обоих посланий.

Не ясно ли, наконец, что определение 2-го послания «с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным» относится, действительно, к восторженным строфам 1-го стихотворения:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы
и проч.

Стоит прочесть без предубеждения весь отрывок 2-го послания «Чаадаев, помнишь ли бывшее?», чтоб совершенно непрекаемо увидеть в нем точное изложение Пушкиным а *contrario* своего первого послания к Чаадаеву. Видеть в «роковом имени», которое предается «иным развалинам» (не руинам дружбы, а обломкам самовластья), «конкретное имя женщины, внушавшей поэту страсть» можно только вполне игнорируя смысл стихотворения:—к чему в самом деле Чаадаеву знать, что вместо имени «роковой женщины» на развалинах будет красоваться его фамилия в соединении с пушкинской?

III

Обращаясь к стиху послания, М. Л. Гофман отмечает, что «довод о прекрасном чисто пушкинском стихе» спорного стихотворения мало убедителен, так как таким «прекрасным, чисто пушкинским» стихом писали очень многие поэты «лучшей в истории русской поэзии эпохи».

Это, конечно, не подлежит спору. Но несомненно одно, что это замечание никоим образом не может относиться к Рылееву, который совершенно не владел «прекрасным чисто пушкинским стихом», а писал свои поэмы весьма не гибким, тяжело-весным, почти прозаическим стилем. Об этом ярко свидетельствует единственная приведенная в статье М. Л. Гофмана фраза Рылеева:

Тут надо не чернил, а крови,
Нам должно действовать мечом.

Это ли «прекрасный, чисто пушкинский стих»? Да и вообще—стих ли это, а не просто отрывок рифмованной прозы?

Стоит сопоставить стихи Пушкина и Рылеева на общие темы (а таких не мало), чтоб раз навсегда отказаться от всяких предположений, будто Рылеев мог писать «прекрасным чисто Пушкинским стихом». Достаточно для этого вспомнить хотя бы рядом с Пушкинским Олегом: («Пирует с дружиною вещей Олег — При звоне веселом стакана...») рылеевскую балладу о том же герое:

Весь Киев в пышном пировании
Восторг свой изъявлял
И князю «Вещего» прозванье
Единогласно дал.

Сопоставим развитие у обоих поэтов темы: Щит Олега.

Пушкин:

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила свободы стяг:
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

Рылеев:

Объятый праведным презрением
Берет князь русский дань,
Дарит Леона примиреньем
И прекращает брань.
Но в трепет грозной Византии
И в память всем векам
Прибил свои щит с гербом России
К царьградским воротам.

Тема Державин, мимоходом и блистательно затронутая Пушкиным (в Онегине, в Воспоминаниях о Царском Селе и, наконец, в послании к Жуковскому: — «И славный старец наш, царей певец избранный — Крылатым гением и грацией венчанный») получает у Рылеева следующую разработку:

Царил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалая в младых сердцах
К общественному благу ревность.

Точно такие же результаты получаются от сопоставления строф обоих поэтов о пирах Владимира, игре Баяна, Борисе Годунове, Мазепе, Аракчееве. Не прав ли был в оценке Рылеевского стиха Бестужев, который, считая «Войнаровского» по «соображению и духу» выше всех поэм Пушкина, признавал все же, что «по стихосложению поэма Рылеева не может равняться даже с самыми слабыми стихами Пушкина»? Не имеем ли мы право признать характер-

ным для поэтических форм Рылеева отзыв Нестора Котляревского о стиле «Временщика»: «Прозаические архаизмы, условные метафоры, деревянный стих»? И не ясно ли, по приведенным выше цитатам, что послание «Любви, надежды, тихой славы», по своей ритмической структуре и свойствам версификации, не относится к типу рылеевских стихов, решительно ни в чем не уклоняясь от пушкинского четырехстопного ямба?

Но М. Л. Гофман считает, что все послание написано «рылеевским стихом и языком». В этом его убеждает один стих— «под гнетом власти роковой», который буквально повторяется в поэме Рылеева «Войнаровский».

Но другие стихи послания вполне явственно повторяют длинные пушкинские строки. Так стихи: «Как ждет любовник молодой минуты сладкого свиданья» весьма близко совпадают с началом монолога «Скупого рыцаря»:

Как молодой повеса ждет свиданья.

А последний стих послания «напишут наши имена» еще с большей буквальностью повторяет, как известно, заключительный стих послания «Чаадаеву» (1821 г.):

Пишу я наши имена.

Стих «Но в нас кипят еще желанья» приводит на память отрывок из «Осени» (1830): «Желания кипят»... Глагол этот, вообще свойственный Пушкину, нередко получает у него такой же метафорический оттенок, как в нашем послании. Вспомним: «Все новое кипит, бывшее истребя» («К вельможе»), «Мечты кипят» («Воспоминание»), «Опять кипит воображение» («Онегин»), «Где ум кипит, где в мыслях волен я»... («Горчакову», 1819), «Так наше ветренное племя растет, волнуется, кипит»... (там же), «Когда б весь яд ее кипел в твоей крови» («Мечтателю»), «Душа кипит и замирает» («Погасло дневное светило...»), «Любовник под окном трепещет и кипит, окутанный плащом», («К вельможе») и мног. друг.

Аналогичные соображения вызывает и стих послания: «Нетерпеливою душой». По своему построению и эпитету, он совпадает с обращением Пушкина к Жуковскому (1818):

Нетерпеливою рукой...

Эпитет этот вообще обычен у Пушкина (Ср. в «Полтаве»: «И Карла ждал нетерпеливо—Их легкомысленный восторг...», «Он слеп, упрям, нетерпелив...». В «Онегине»: «Она готовила пожар нетерпеливому герою» и др.).

Перифразируя М. Л. Гофмана, можно было бы утверждать, что если автором послания и является Рылеев, то иллюстрировал он его отнюдь не рылеевскими, а скорее пушкинскими образами, эпитетами и сравнениями.

Продолжая анализ рылеевского словоупотребления, Гофман приходит к заключению, что излюбленными его словами были «отчизна», и «честь», при чем «слово честь Рылеев понимает специфически как общественно-политический долг».

Эти утверждения приходится принимать на веру, так как ни одного примера из стихотворений Рылеева Гофман в доказательство своих слов не приводит, ссылаясь лишь на спорный текст: «Пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим».

Выписав две строфы из спорного послания, он ограничивается заявлением: «Поразительно по-Рылеевски (или под Рылеева) звучат приведенные нами строфы». Это восклицание не может не вызвать в памяти замечания самого М. Л. Гофмана: «К сожалению, стих Пушкина и стих современных ему поэтов настолько мало исследованы, что... выражение «чисто пушкинский стих» надо понимать, как субъективное восприятие того или иного стиха... Бедная русская наука!»

Но действительно ли слова «отчизна» и «честь» так неотъемлемо характерны для Рылеева? Вспоминаем у Пушкина: «Для берегов отчизны дальней...», «В отчизне варваров безвестен и один» («Овидию»), «Отчизны стыд моей...» («Лицинию», 1815), «Иду в чужбину, край отчизны — С дорожных отряхнув одежд...», («Презрев и шопот укоризны», 1824). И далее:—действительно ли слово «честь» так специфически понимается одним Рылеевым? Откроем Пушкина ранней эпохи:

На нем сияет язва чести...

(К принцу Оранскому, 1815.)

Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня...

(Наполеон на Эльбе, 1815.)

...Где все продажное: законы, правота
И консул, и трибун, и честь, и красота...
(Лицинию, 1815.),

Шумят знамена бранной чести...
(Война, 1821.)

Скучая миром в язвах чести
Вкушаешь праздный ты покой...
• (Кавказский пленник).

Нашед на поле битв и чести...
(К Юдину).

Нетрудно убедиться, что и третий «гражданский» термин послания—«самовластье»—вполне обычен для Пушкина: «Его пленяло самовластье — Разочарованной красой» «Наполеон», «Гонимый рока самовластьем» («В альбом», 1832), «Давно без крова я ношусь — Куда подует самовластье» («Языкову», 1824.), «И самовластие лишь север укрывал» («Недвижный страж», 1823). Нужно ли доказывать, что слова вольность, свобода, слава, сладкий (в применении к любви) несомненно присущи Пушкинскому словарю?

Но главное, — в послании «Любви, надежды, тихой славы» есть несколько выражений, чрезвычайно характерных для Пушкина и мало свойственных Рылееву. Это, во первых, слово томление («Мы ждем с томленьем упованья...»). В своей статье о пушкинском словаре В. Ф. Саводник отметил в свое время пристрастие Пушкина к эпитету «томный». Родственное ему по корню «томление» так же свойственно языку поэта: «В томленьях грусти безнадежной...» («К А. П. Керн»), «Томленья страшного разлуки» («Для берегов...»), «В порывистых томленьях — Склонилась она» («Городок»), «Давно сердечное томленье—Теснило ей младую грудь» («Онегин», III, 7), «Иль перси, полные томленьем» (там же, I, 33).

Еще характернее для Пушкина и так же мало присущ Рылееву эпитет пленительный («Заря пленительного счастья»). В пушкинском поэтическом словаре это весьма заметный термин:

Кто изменил пленительной привычке?
(19 октября 1825)

Его стихов пленительная сладость...
(К портрету Жуковского)

... Чудесный жар пленительных очей.
(В альбом Сосницкой, 1818)

И ныне ей передала
Свои пленительные звуки
(Кн. М. А. Голицыной)

По их пленительным следам
Летают пламенные взоры
(Евг. Онегин, I, 28)

Веселый Бомарше блеснул перед тобою,
Он угадал тебя: в пленительных словах...
.....
Благословенный край, пленительный предел!
(К вельможе, 1830).

Мы видим, что М. Л. Гофман совершенно напрасно утверждает, что «семантика послания только с очень малой степенью вероятности позволяет предположить авторство Пушкина». Анализ языка интересующего нас стихотворения приводит, напротив, к определенному выводу о его несомненной стилистической характерности для Пушкина. Совпадения же с рылеевским словарем—здесь вполне нейтрализуются целым рядом специфически пушкинских слов и оборотов, мало характерных для автора «Войнаровского».

IV

Разбираясь в протесте Пушкина против публикации «Северной Звезды», М. Л. Гофман обращает внимание на то, что несколько стихотворений из напечатанного цикла необходимо отвести от Пушкина.

Вот подсчет исследователя: из 7 стихотворений «Северной Звезды» одно отпадает, как несомненно не Пушкинское (отрывок из поэмы Вяземского «Негодование»), 5 пьес несомненно принадлежат Пушкину, и одно стихотворение, «Любви надежды, тихой славы», может быть признано спорным. Между тем Пушкин говорит о чужих стихах все время во множественном числе. Г-н Ап. отослал в альманах его стихи «вместе с собственными произведениями», а в черновике заметки: «В числе пьес, доставленных г-ном Ап., некоторые принадлежат мне в самом деле, другие мне вовсе неизвестны». Отсюда, по мнению Гофмана, следует заключить, что не одно, а минимум два (можно, впро-

чем, сказать и максимум два, ибо из 7 стихотворений пять несомненно принадлежат Пушкину) необходимо от него отвести. В эту цифру неизбежно попадает и «Любови, надежды, тихой славы».

Ответим на эти соображения.

Фразу «вместе с собственными произведениями» нет нужды понимать буквально. Это вполне естественный оборот речи, в том случае даже, если говорится об одном произведении. И тогда, имея в виду такое единственное создание, попавшее в пачку его подлинных стихов, поэт высказался бы той же формулой, вполне соответствующей духу русского языка и негодующей интонации заявления: «Г-н Ап. не имел никакого права располагать моими стихами, исправлять их по своему и отсылать в альманах г. Бестужева вместе с собственными произведениями...». Единственное число («вместе с собственным произведением») звучало бы странно, с непривычной и неуместной точностью. Заключать из этой фразы о наличии «нескольких произведений» у нас нет достаточных оснований.

Остается другое указание Пушкина, черновое, удаленное из окончательной редакции: «В числе пьес, доставленных г-ном Ап., некоторые принадлежат мне в самом деле, другие мне вовсе неизвестны». Но нужно иметь в виду, что Бестужев-Рюмин, публикуя стихи, выразил свою благодарность г. Ап., доставившему ему тринадцать пьес, «из коих несколько помещено в сей книжке...» Это заявление обратило на себя внимание Пушкина: «Г-н Бестужев в предисловии какого-то своего альманаха благодарит какого-то Ап. за доставление стихотворений, объявляя ему, что не все удостоились напечатания».

Пушкин запомнил, что из тринадцати пьес только несколько были помещены в альманахе. Черновая заметка приобретает новый смысл: «в числе пьес, доставленных г-ном Ап., (не напечатанных Бестужевым, а доставленных г-ном Ап., т.е. в числе тринадцати пьес), некоторые принадлежат мне в самом деле (не исключается возможность и принадлежности Пушкину 6 пьес), другие (из того же числа 13 пьес) мне вовсе неизвестны».

Эта фраза из черновика была забракована Пушкиным и не попала в окончательный текст, как, может быть, недостаточно отчетливая. Рискованно, поэтому, думается нам, строить на ней

какие-либо категорические заключения (т.-е. относить фразу «другие мне вовсе неизвестны» непременно к 7 напечатанным стихотворениям). Напротив того, прямой смысл фразы говорит о всей партии присланных стихов, т.-е. о тринадцати, из которых, разумеется, часть была Пушкину «вовсе неизвестна».

Таким образом нет необходимости «не верить заметке Пушкина», чтобы все же не признать убедительными соображения М. Л. Гофмана, построенные на тех «множественных числах» пушкинского заявления, которые вызваны в одном случае естественным оборотом речи, в другом наличием иной цифры.

V

Наконец, М. Л. Гофман обращается для разрешения спора и к политическому мирозерцанию обоих поэтов. По его мнению, стихотворение об «обломках самовластья» не мог «написать поэт-либерал Пушкин, «не входивший ни в какую политическую революционную организацию» и ожидавший падения рабства лишь «по манию царя»*). Напротив, оно вполне в духе всей революционной поэзии и деятельности Рылеева. Так что «если бы это стихотворение оказалось Пушкинским,— оно стояло бы совершенно особняком среди стихотворений, написанных Пушкиным в годы, предшествовавшие его ссылке на юг».

Разберемся в этих положениях.

Не собираясь разрешать в порядке полемики сложного вопроса о политическом мирозерцании Пушкина, которое во всяком случае, принимая во внимание 20-летнюю деятельность поэта, нельзя подводить под одну формулу «поэт-либерал» (ибо, несомненно, и ряд других формул, от «революционности» и даже оправдания политического террора вплоть до консерва-

*) Из революционной деятельности Пушкина Гофман признает только один факт: поэт «показывал в это время портрет студента Занда, убийцы Коцебу». К сожалению, этот единственный революционный акт Пушкина никогда не имел места. Пушкин, как достоверно известно, показывал своим соседям в театре портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского. Так и изобразил его современный сатирик:

Гимн Занда на устах,
В руке портрет Лувеля.

Но может быть, М. Л. Гофман и здесь борется с традицией?

тизма и «великодержавности», найдут здесь себе место), отметим лишь несколько историко-литературных фактов.

Можно ли считать, что революционные строфы нашего послания так одиноки в творчестве раннего Пушкина? Вспомним хотя бы оду «Вольность», где имеются такие строки:

Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
.....
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
.....
Тираны мира, трепещите,
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте падшие рабы.
.....
Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
.....
Погиб увенчанный злодей.

Ода «Вольность», 1819 г.

Это ли проявление «либерализма» и уважение к «манию царя»?

Ряд других стихотворений 20-летнего Пушкина подтверждают характерность для него в эту пору политических настроений выразившихся в спорном послании. Отношение к «самовластью» в них выражено с полной недву­смысленностью:

С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя.
А иногда насчет земного.

(«В. Энгельгардту», 1819 г.)

Не вижу я украшенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистика придворного кривляния.

(«Горчакову», 1819).

Или обращение к «Кинжалу»:

Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд;
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

(«К и н ж а л», 1821).

Вот какими чертами рисует в эти годы Пушкин французскую революцию:

Когда надеждой озаренный,
От рабства пробудился мир
И галл десницей раз'яренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный
Свободы яркий день вставал...

(«Н а п о л е о н», 1921).

Это ли все должно быть признано за «оппозицию его величества»?

Можно ли, при наличии таких ярко-политических строф, утверждать, что «поэт никогда не отрекался от своего чисто поэтического служения», что Пушкин «никак не мог серьезно думать о том, что на «обломках самовластья» будут написаны имена его и Чаадаева, который также не был политическим деятелем»?..

Пушкин, мы знаем, смотрел совершенно иначе на свою политическую роль. Он знал, что его антиправительственные стихи распространяются среди революционных деятелей эпохи, и постоянно считал себя певцом декабрьского движения и, в силу этого, его участником. Таким он изображает себя, как известно, в «Арионе» («А я, беспечной веры полн, пловцам я пел») и в X-й главе Онегина, изображающей декабрьское движение:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Луний дерзко предлагал

Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои нозли Пушкин,
..... Якушкин
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал...

Вот как смотрел на свое политическое призвание Пушкин, решительно причисляя себя «к членам сей семьи» и даже сближая чтение своих поэм с обнажением цареубийственного кинжала. Впоследствии, как известно, поэт даже считал, что за это участие в движении он рисковал быть казненным вместе с главными его вождями. Удивительно ли, что он признавал свое имя достойным начертания на «обломках самовластья»?

VI

Еще менее оснований на звание революционера признает Гофман за Чаадаевым, который «не был активным политическим деятелем». Но прежде всего нам важно на этот счет мнение Пушкина:— как он смотрел на Чаадаева? В 1817 г. он красноречиво говорит о своем друге: «он в Риме был бы Брут», т.-е. заговорщик и цареубийца. В 1821 г. в своем послании к Чаадаеву он говорит о их будущей встрече:

Вольнолюбивые надежды оживим.

Заметим кстати, что спорное послание и является таким сплошным выражением «вольнолюбивой надежды».

Изображая на основании имеющихся материалов беседы Пушкина с Чаадаевым, М. О. Гершензон свидетельствует: «на первом плане стояли тогда строгое отношение к себе и желание свободы для России. То и другое соединялось в сознании своего общественного долга». В глазах Пушкина «Чаадаева всего больше отличали свободолюбие и широкий государственный взгляд. Главными темами этих бесед и чтений были политическая жизнь народов в прошлом и будущем, уроки исторического опыта и грядущие судьбы человечества вообще и России в частности... Самым жгучим интересом являлось, конечно, порабощение России». Мог ли Пушкин при таких условиях не признать имя Чаадаева достойным фигурировать на обломках самовластия?

Мы знаем, что в этом предсказании он не ошибся, и два отмеченные им имени (его собственное и Чаадаева) широко вошли в революционно-политическую литературу, подготовлявшую падение самодержавия. Окончательная оценка их революционной роли впереди, но традиция целого столетия наметила определенный и неуклонный путь к разрешению этого вопроса.

Имя Пушкина, «не входившего ни в какую революционную организацию» и будившего революционный пыл целого поколения, так же как и имя Чаадаева, «который не был активным политическим деятелем» и произнес самое грозное «j'accuse» николаевской России, несомненно значатся в списках имен, начертанных на «обломках самовластья». Зоркость поэта, обращенная в далекое будущее, оказалась острее и безошибочнее соображений исследователя, оперирующего точными фактами отстоявшегося прошлого.

VII

К кому же обращено послание, известное до сих пор, как посвящение Чаадаеву? Одному из главных вождей декабризма, — отвечает М. Л. Гофман, — А. А. Бестужеву, соратнику и другу Рылеева. В одном из списков даже названо его имя.

У Пушкина, мы знаем, есть три стихотворения, обращенных к Чаадаеву (не считая спорного «Любви, надежды...»). У Рылеева есть четыре посвящения Бестужеву (конечно, не считая приписываемого ему ныне послания). Каково отношение этих стихотворений к интересующему нас тексту?

Три «чаадаевских» стихотворения Пушкина — «К портрету Чаадаева», «Чаадаеву» («К чему холодныя сомненья») и «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет»), — как показано выше, находятся в полном соотношении с четвертым («Любви, надежды, тихой славы»). В одном Пушкин отмечает печальную участь своего друга, осужденного влачить «оковы службы царской» вместо того, чтоб быть политическим борцом или государственным деятелем: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес»; в другом поэт указывает на окрыляющие их обоих «вольнлюбивые надежды»; в третьем прямо ссылается на свой ранний призыв к борьбе с самовластием. «Чаадаевский цикл» действительно объединен у Пушкина внутренними темами и с несомненностью раскрывает нам представление Пушкина о Чаадаеве, как о борце и политическом герое.

Ни одно из рылеевских стихотворений не рисует нам в таком свете Бестужева. Посвящение поэмы «Войнаровский» говорит лишь о счастье дружбы, и, хотя заканчивается знаменитым стихом «Я не поэт, а гражданин»,—восклицание это ни в коей степени не затрагивает Бестужева, который тут же называется: «Аполлонов строгий сын...». Другое стихотворение—«К А. А. Бестужеву» («Хоть Пушкин суд мне строгий произнес...»)—говорит исключительно о произведении самого Рылеева; третье—«Стансы», посвященные Бестужеву, представляет целиком пессимистическую исповедь поэта. Наконец, в четвертом стихотворении—«К Бестужеву»—речь идет, правда, о самом друге Рылеева, но мы узнаем из него только, что Бестужев—«беглец Парнасса молодой», что музы за ним порхают «вертлявою толпою», и что его очаровали какой-то «Мейеровой глазки...»

Таким образом, ни в одном из стихотворений Рылеева, посвященных Бестужеву, нет призыва к совместной борьбе, нет надежд на общую славу, нет указаний на близость их политических путей, или на взаимодействие их общественных убеждений—словом, нет того пафоса гражданского союза, которым проникнута пьеса «Любови, надежды...» и отзвуки которого явственно слышатся у Пушкина в прочих частях чаадаевского цикла.

Если глухое, анонимное, подпольное предание и отнесло в каком-нибудь списке эти стихи к Бестужеву, у нас нет никаких оснований поддерживать это случайное, произвольное и явно беспочвенное указание; всестороннее исследование вопроса так же категорически отводит честь посвящения этих «прекрасных стихов П.» от Бестужева, как отводит славу их авторства от Рылеева.

VIII

Остановимся на дополнительных замечаниях статьи. М. Л. Гофман считает весьма сильным доводом в свою пользу, что Огарев в письме к бывшему наборщику «Колокола», напечатанном в сан-франциском листке «Свобода» от 28 сентября 1872 г., приписывает стихотворение «Товарищ, верь: взойдет она...» не Пушкину, а Рылееву.

Но, во-первых, «Товарищ, верь» не есть «стихотворение», а только одна его строфа: как известно, стихотворение «Любови, надежды, тихой славы» появилось впервые в печати именно без

этой строфы; о самом же стихотворении, в целом, Огарев видимо ничего не говорит.

Во-вторых, Огарев в 1856 г., напечатав впервые полностью за подписью Пушкина текст послания в «Полярной Звезде» (и повторив его в 1858 г.), признал его автором не Рылеева, а Пушкина.

Мы не видим основания считать это двукратное печатное заявление, относящееся ко всему стихотворению, менее авторитетным, чем частное сообщение в письме, говорящее лишь о 5 строчках того же стихотворения. Мы не усматриваем, далее, причины, в силу которой Огарева нужно в этом вопросе считать компетентнее Анненкова, чье признание спорного стихотворения пушкинским опротестовано Гофманом: Анненков «не располагал никакими, не дошедшими до нас материалами» *). Ну, а Огарев? Наконец, чтоб довериться показанию Огарева, необходимо прежде всего прочитать полностью текст его заявления. М. Л. Гофман нам его не сообщает, и нам даже остается неизвестным, читал ли он его сам?

Едва ли поэтому этот заключительный аргумент может считаться особенно веским.

IX

Признавая заслуги М. Л. Гофмана в области новейшего пушкиноведения, мы должны отметить, что в своем законном стремлении очистить подлинный текст поэта от приписываемых ему произведений автор «Первой главы науки о Пушкине» проявляет подчас недостаточное чувство меры. В названной книге своей он утверждает, что Пушкин «совершенно определенно и категорически отказывался» от известного «Романса» («Под вечер осени ненастной»), а также от послания «Люби, надежды, тихой славы...»

«В приведенной нами заметке Пушкина, — говорит Гофман, — в которой он категорически отказывается от «Романса» (принадлежащего, кстати сказать, даже к иной, непушкинской поэтической школе), поэт столь же решительно и и с к р е н н о (курсив подлинника — Л. Г.) утверждает, что он никогда не был автором послания «Люби, надежды, тихой славы».

*) Это утверждение противоречит свидетельству Анненкова, что датировка стихотворений Пушкина, напечатанных в «Северной Звезде», сделана им на основании указаний современников, «знавших их при самом появлении».

Необходимо поэтому, по мнению М. Л. Гофмана, очистить собрания подлинных текстов Пушкина от этих двух явно апокрифических стихотворений.

Но действительно ли Пушкин так «определенно и категорически», так «решительно и искренно» отказывался от этих двух произведений, которые подлежат поэтому изъятию из его сочинений?

По поводу первого стихотворения, т.-е. «Романса», отвечал М. Л. Гофману М. А. Цявловский:

«На стр. 115 — 118 (книги Гофмана) доказывается, что стихотворение 1814 г. «Романс» («Под вечер осени ненастной») не принадлежит Пушкину. Утверждение это — неверно: стихотворение несомненно Пушкина. В списке стихотворений Пушкина, предназначенных для помещения в собрание изд. 1826 г., посланном Плетневым Пушкину и последним просмотренном, о чем свидетельствуют его рукой сделанные пометы, находится и «Романс». Если бы оно было не Пушкина, поэт, конечно, его вычеркнул бы. Этого мало: в рукописи, с которой набиралось издание 1826 г., по словам Ефремова, Пушкин не только зачеркнул стихотворение, но и «начал было переправлять» текст «Романса», чего, конечно, не стал бы делать с чужим произведением. В приводимой же М. Л. Гофманом заметке Пушкина речь идет, очевидно, не о «Романсе», на что было уже указано Н. О. Лернером (Соч. П. под ред. Венгерова, т. I, стр. 312)» *).

Вопрос о «категорическом отказе» Пушкина от «Романса» неожиданно разрешается в смысле его несомненного признания Пушкиным.

Мы не претендуем на аналогичное исчерпывающее разрешение нами вопроса о втором стихотворении — именно о послании «Любви, надежды, тихой славы», но думаем, что говорить здесь о «совершенно определенном и категорическом отказе» от него Пушкина так же нельзя, как и относительно «Романса». Мы считаем далее, что анализ вопроса не дает нам никаких серьезных оснований на приписывание его Рылееву, и что все обстоятельства текстуальной истории, политической идеологии и поэтического стиля этого послания обращают нас к тому поэту, чье имя так определенно сигнализировалось читателю инициалами первых публикаций:—к Пушкину.

Леонид Гроссман

*) «Феникс», 1922, I, 16.